

ЛЮДЗІ ЭСЭ

Валерий ГРИШКОВЕЦ

ОТЕЦ

Это эссе вряд ли бы появилось, если бы лет пятнадцать тому пинский краевед и литератор Александр Ильин не нашел, кстати, совершенно случайно, в Брестском областном архиве протокол судебного исполнителя, касавшийся моего отца.

Вспоминая отца, не припоминаю его улыбающимся, а чтобы смеющимся... По-моему, отец, или, как чаще всего я, уже в ранней молодости, звал его, просто «батя», не смеялся вообще. Да и улыбался не так уж и часто: когда порадуешь его хорошей новостью или сделаешь что-то особенное по хозяйству, для блага семьи и улучшения быта в доме. Нынче в это как-то и не верится. Отец мой не был, что называется, сухарем, да и с юмором у него все было в порядке. Мог иной раз и, так сказать, подколоть или маленько подшутить над тобой, при этом слегка улыбнется и... на этом все.

Батя был человеком работающим, умелым в любом деле, которое касалось дерева, точнее сказать, деревообработки. С топором обращался легко и даже красиво. В его руках топор просто играл, и бревно выходило обработанное, точно по шнурку, — ровно, без сучка-задоринки. Посмотришь, бывало, гладко, словно кто рубанком еще прошелся. И с другим плотничьим инструментом — рубанком, фуганком, киянками, долотами, стамесками и прочим — обращался по-своему.



ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Валерий Гришковец (справа) с отцом Федором Феодосьевичем и матерью Марией Борисовной, с братом Федором и сестрой Марией. Февраль 1969-го.

водой, и пишу либо читаю, пока сон не сморит окончательно...

В доме, построенном и отцом, я прожил до 27 лет. К сожалению, из него мы выносили батю на руках. После тяжелого инсульта он так и не оклемался, умер в квартире на втором этаже.

Накануне переезда в многоквартирный дом, даже задолго до этого, батя не однажды говорил, как не хочется ему переезжать и доживать в человеческом улье. Так он, родившийся и проживший не один десяток лет в собственном доме, с огородом и садом, пусть и совсем небольшими, называл многоквартирные дома. Что тут скажешь, время и обстоятельства формируют характер человека, его мировоззрение, его сущность. Так что вполне понятно отношение бати к частной собственности: он считал ее краеугольным камнем благополучия и счастья человека. Вокруг же все было ничто и ничего или почти ни-

хотелось хоть в мечтах-думах побыть пожить в нем...

Там совсем немного было мебели. Диван, тумбочка под телевизор, кухонный стол, полки под посуду, а также довольно большой, к тому же — на случай — раздвижной круглый стол были сработаны руками отца. Именно сработаны, а не сделаны. А если сделаны, то — мастерски. В свою работу — это было видно любому — батя вкладывал душу, всю, без остатка...

После смерти матери, а она умерла на 85-м году, пережив мужа на четырнадцать лет, переезжая на свою нынешнюю квартиру, я забрал лишь круглый стол. Его бы выбросили, но я настоял забрать его в новую, как я теперь окончательно сознаю, мою последнюю на земле квартиру. Больно уж хотелось мне, чтобы хоть что-то из моего, того, отцовско-материнского дома было со мной до конца моих дней...

ском. Разумеется, в рядовом составе. Выше капрала православному, как и еврею, в польской армии предвоенного времени было не подняться. Про офицерство и думать не приходилось. Кстати говоря, солдат с «кресов восточных» православного исповедания, как и весь тутошний православный люд, в межвоенной Польше считали русскими. Ну а католиков, соответственно, поляками. Никакой белорусской национальности, как и вообще Белоруссии, в Польше Пилсудского не признавали. Думаю, это в немалой степени повлияло на то, что отец и мама называли себя русскими. Ну а собственно русских они именовали «восточниками». Впрочем, «восточниками» мои родители считали и белорусов, переехавших в Пинск из той части Белоруссии, что до сентября 1939 года входила в БССР...

Отслужив, батя вернулся и на пинскую «фанерку». Тягал, как не раз вспоминал, вагонки со шпоном. Такую работу давно выполняют электрокары, разумеется, управляемые человеком. А тогда шпон для выпуска фанеры к прессам подвозили по рельсам вагонками — два человека их плечами толкали. На работу батя добирался зимой пешком — напрямик через замерзшую Пину. Примерно пять километров. А летом — вкруговую через мост, около 30 км на велосипеде.

И все было нормально. Ничего вроде особенного в судьбе отца не случилось и после освободительного похода Красной армии в Западную Белоруссию. Он все так же работал на «фанерке». Разве что зарплату стали выдавать другими деньгами и меньше товаров стало в магазинах, как и самих магазинов. До войны с немцами (Великой Отечественной) Пинск процентов на 70-80 был еврейским. Предприятий практически не

инструментом — рубанком, фуганком, киянками, долотами, стамесками и прочим — обращался по-свойски.

Так в родительском доме понемногу на моей памяти появлялась мебель, сработанная руками отца. Например, диван с пружинным матрасом и высокой и широкой спинкой. Хорошо помню, как не раз смотрелся в зеркало, встроенное в спинку. Видимо, по тогдашней моде. Позже, когда купили телевизор, батя смастерил, буквально за день-два, тумбочку под него. Я, как это и бывало в ту пору, помогал ему. Держал доску, которую батя распиливал, что-то подносил и относил, помогал клеить облицовочный шпон — строганную из дуба тонкую древесную пленку. В этой же комнате, которую мы называли большой, стояла этажерка, которую отец смастерил задолго до появления у нас в доме телевизора. На ее полках располагалась наша домашняя «библиотека» — десятка полтора-два книг разного содержания и жанров. Ну и стол, круглый, сделанный из дуба, что сейчас стоит в моем доме. А на кухне висели полки для посуды, в углу — приспособление из дерева со встроенным в него металлическим умывальником и тазом, в который сливалась вода. Потом появилось нечто более солидное, что мы называли сервантом. В него переместили с полок посуду, там хранили крупы, муку и прочее.

Но самой значительной мебелью в родительском доме был, конечно, диван. Я на нем спал, когда в другой комнате, кстати, их в родительском доме было всего две, обосновалась семья моего брата — жена и двое сыновей. После того как отца разбил инсульт, я часто спал на кухне, постелив матрац. Так продолжалось четыре зимы. Летом я располагался на ночь в сарае. И спал в нем буквально до первых холодов — так не хотелось мне в дом, где все меньше и меньше оставалось мне места. Я и писал в сарае, много писал. Зажгу свечку, поставленную в банку от рыбных консервов, наполненную на всякий случай

считал ее драгоценным камнем благополучия и счастья человека. Вокруг же все было наше и ничего или почти ничего своего. С переездом в многоквартирный дом батя, как я теперь понимаю, на подсознательном уровне осознал: он теряет последнюю собственность, дом, в который он вложил свои силы и душу, строя его, и который затем, как только в родной деревне началась коллективизация, правдами и неправдами выбив паспорт и городскую прописку, перевез в Пинск. Теперь он лишился и этого — родного дома...

А дом, построенный и его руками, пошел под снос. Расширялся литейно-механический завод, что располагался сразу же за нашим забором. Нашей семье, как и семье брата отца, моего родного дядьки Петра, жившего на другой половине, завод по такому случаю выделил квартиры. Как непременно подчеркивалось, со всеми удобствами. Отдельную квартиру — и моему старшему брату с семьей, а также двоюродным братьям. Все они были женаты, имели детей и, разумеется, с нетерпением ждали, когда наконец-то «литейка» снесет наш дом. Не хотели этого разве что бессемейный я да больной, разбитый инсультом батя. Я привык к нашей, все еще зеленой улице, пусть уже и не такой тихой, как бывало, когда «литейка» еще не размахнулась так широко. В этом районе у меня была куча друзей, тут знали меня даже собаки.

Дом снесли и продали куда-то в деревню на новую сборку. Бревна разобрали, пронумеровав заранее, а потом собрали по номерам уже новые хозяева. Я даже не спрашивал у матери, куда, в какую деревню ушел наш дом. Мне было как-то больно осознать, что в моем отцовском доме живут другие люди...

Пока его не снесли и не продали, я несколько раз в начале лета приезжал на свою улицу. Дом стоял закрытый, во дворе не было ни скамейки, ни стула, так я садился на травку под грушей, чтобы повспоминать — мне так тяжело было расставаться с МОИМ домом, так

считовско-материнского дома было со мной до конца моих дней...

Стол этот, как я, переехав сюда, вычислил, батя смастерил летом 1962 года. Год, как полетел в космос Гагарин. Мать так и говорила. Апрель 61-го она запомнила потому, что впервые пошла работать на завод. До того, сколько ни пыталась найти в городе работу, не могла устроиться. Предприятий было немного. Строек, какие начались ближе к середине 60-х, еще не было, так что с работой было непросто. А человеку без профессии, каковых на то время оказалось в Пинске немало, работу и вовсе было не найти. Западное Полесье полностью переходило на новый, колхозный образ жизни. Многие селяне, едва вкусив пирога этой самой новой жизни, подались в город. Было это непросто. Но батя смолоту работал в Пинске. Его отец был мало-земельным, мать умерла, когда ему не исполнилось и пятнадцати лет. В семье было еще трое детей — десятилетняя сестра Ольга, восьмилетний Максим и трехлетний Петр. Старший брат Иван, достигнув совершеннолетия, уехал на заработки в Аргентину. И хлеб насущный, живя на селе, правда, недалеко от Пинска, батя пришлось добывать в городе. Так еще «за польским часом» он оказался на местной «фанерке».

В 1934-м отца призвали на службу в Войско Польское. Служить довелось в Гдыни. Не особо говорливый, изредка и все как-то мельком нет-нет да и обмолвливался батя про свою службу в польской армии пана Пилсудского. Ему, как и другим польским солдатам православного исповедания, доводилось выполнять много черновой армейской работы. По выходным и праздничным дням католического календаря солдат-поляков строем вели в костел, а наряды по службе и разные бытовые работы в воинской части приходилось выполнять солдатам православного исповедания и евреям. Их также немало было в Войске Поль-

ной) Пинск процентом на 70-80 был еврейским. Предприятий практически не было, в основном небольшие мастерские, а вот торговля и мелкие ремесла, что называется, процветали. Впрочем, речь не об этом. В марте 1941 года батя отправился на работу напрямик в сторону Пины. Но, подходя к реке, понял — Пина «пошла». Побежал в сторону моста. А там еще по городу с километр, не меньше, до «фанерки». Пока пришел на завод, опоздал на полчаса.

В тот же день батю забрали. Суд был недолгим. Безо всякого разбирательства и следствия — год тюрьмы. Вместе с ним осудили очередных нескольких евреев, отказавшихся работать в субботу, и какого-то бедолагу, отрезавшего на заводской свалке от старой транспортерной ленты два куска на подметки к ботинкам. Еще недавно это было в порядке вещей, но теперь...

Осужденных на короткий срок куда не увозили. Выводили на разные городские работы. В основном — на распиловку леса и заготовку дров для отопления различных городских учреждений и заведений. Их в областном Пинске появилось столько, что трудно было запомнить. Тем паче людям, толком не знавшим русского языка, не умевшим читать по-русски...

В первые дни войны немцы двинулись, оставляя Пинск в стороне. Минск, как известно, они оккупировали 28 июня 1941-го, а в Пинск вошли лишь 5 июля. К этому времени охрана пинской тюрьмы эвакуировалась на восток, а заключенные разбежались по домам. У кого он, дом, разумеется, был. Правда, радость их, неожиданно получивших свободу, была недолгой. Немцы, маленько освоившись в Пинске, тут же всех беглых советских арестантов вернули по камерам. Скоренько нашли по спискам, которые бывшая тюремная охрана, оставляя город, не уничтожила. Немцы заключенных использовали на восстановлении железной дороги, которую недавно они же и разбомбили.

(Окончание следует)